

В.П. Мещеряков

Григорий Мелехов

Мелехов Григорий Пантелеевич — главный герой романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» из старого казачьего рода на Дону. Дед его из похода привез жену турчанку. «С тех пор и пошла турецкая кровь смешиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному Турки».

Старший в семье Пантелей Прокофьевич. У него два сына: первый — Петро, цветом пшеничных волос и статью пошедший в мать, а Григорий напоминает отца. «...На полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румяняющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое». Кроме сыновей и жены, есть у Пантелея Прокофьевича еще и дочь-подросток, Дуняшка. Петр вместе с женой и малым ребенком живет с родителями.

Еще до рассвета Пантелей Прокофьевич берет с собой Григория и отправляется на рыбную ловлю, оказавшуюся удачной.

На обратном пути Григорий догадывается, что отец что-то хочет сказать, но не решается. Наконец он пересиливает себя: «Ты, Григорий, вот что... примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой...» Однако заканчивает Пантелей Прокофьевич этот, тяготящий его, разговор на жесткой ноте («...наперед упреждаю: примечу — запорю!»).

В день ухода Петра в летние лагеря Григорий ведет братова коня к Дону на водопой. У реки он встречает Аксинью и затевает с ней игривый разговор, но молодая женщина поначалу не принимает его неуклюжих ухаживаний.

Внимательным «долгим, неморгающим взглядом» наблюдает Григорий за тем, как Аксинья провожает мужа (он тоже идет в лагеря), «любовно и жадно» заглядывая ему в глаза.

В тот же вечер над хутором нависает бурая туча — собирается гроза. Пантелей Прокофьевич спешно латает бредень, торопясь успеть к Дону: во время бури рыба косяком идет к берегу. На помощь рыбакам — держать бредень — мужчины берут своих и соседских баб, среди которых и Аксинья.

Вымокшие и усталые Григорий и Аксинья на пути к дому отстают от остальных. Григорий делает попытку грубовато обнять женщину. Она резко рванулась: «Пусти!» — «Помалкивай». — «Пусти, а то зашумлю!». Неожиданно появившийся поблизости Пантелей Прокофьевич кладет конец этой сцене.

Перед Троицей хуторские делят луг. На косьбу Мелехов-старший решает пригласить и Аксинью, поскольку его семья тоже обещала по-соседски помочь Астаховым. Григорий ощущает смутную надежду: может удастся уединиться где-нибудь с Аксиньей.

Но они встречаются еще до этого.

Митька Коршунов приглашает Григория присутствовать на скачке, которую он затеял на спор. Возвращаясь ко двору, парни неожиданно сталкиваются с Аксиньей. «Григорий, глядя перед собой, почти проехал мимо и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги — взягнув, забрызгала Аксинью грязью. «И-и-и, дьявол дурной!». Круто повернув, наезжая на Аксинью разгоряченной лошадей, Григорий спросил: «Чего не здороваешься?» — «Не стоишь того!» — «За это вот и обляпал — не гордись!» <...> «За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..» Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного глаза

внезапно нависла слезинка; жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула: «Отвяжись, Григорий... Я не серчаю... Я...» — и пошла».

На Троицу начался покос. Аксинья работает вместе с Мелеховыми.

Григорий механически шел за отцом, «полузакрыв глаза, стелил косой травье». Аксинья «неотступно была в его мыслях... мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие и ласковые слова...»

Коса Григория натолкнулась на только что вылупившегося из яйца утенка, и он «с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони. <...> Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косой».

В полночь Григорий, отправившийся в степь сторожить волов, «крадучись подошел к стану, стал шагах в десяти. <...> От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, остановилась. Аксинья. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; приседая, шагнул вперед, откинул полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхавшую жаром».

Скоро о связи Григория с Аксиньей узнал весь хутор. Пантелея Прокофьевича об этом ехидно известил хозяин лавки Мохов. Старик попытался было прочесть мораль забывшей стыд мужней жене, но натолкнулся на такую отповедь, что еле дверь сумел отыскать.

Отыгрался Пантелей Прокофьевич на сыне. «Не говоря ни слова, достал его костью вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке», вырвал у него палку. «“Драться не дам!” – глухо сапнул Григорий...» После этой стычки отец принял твердое решение женить Григория как можно скорее.

Несмотря на отцовский гнев и угрозы, Григорий каждую ночь пробирается к Аксинье. «Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них уже при встречах почему-то стыдились люди смотреть».

В одну из таких ночей Григорий снова пришел в хату к Аксинье. Лежа у него на руке, она напоминает, что до возвращения мужа осталось десять дней. «Григорий молчит. Ему хочется спать». И, зевая, он отвечает: «Степан придет — это не штука. Батя вон меня женить собирается».

Эта новость раздавила Аксинью. Словно прорвав плотину своей сдержанности, она умоляет Григория бросить все, уйти с ней из дома, хотя бы в батраки или на шахты.

«Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои, нерусские глаза. Они смеются. Спят насмешкой. “Дура ты, Аксинья, дура! <...> Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же на службу мне на этот год. Не годится дело... От земли я никуда не тронусь...” — Григорий сплевывает и еще раз говорит: “Никуда я с хутора не пойду”». Он «не видит, как у Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи, и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова».

Когда, выйдя из дома, Григорий увидел, как Степан охаживает жену сапогами, он, не раздумывая, бросился на помощь. За ним следом мчится и Петро.

Братья дрались отчаянно, но заматеревшего Степана им и вдвоем одолеть не удалось. Они расходятся, сплевывая кровь и грозя друг другу. «С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховыми и Степаном Астаховым злоба».

Меж тем Пантелей Прокофьевич приступает к осуществлению своего замысла. Лихо подпрыгивая на кочках, несется бричка Мелеховых — сватать Наталью Коршунову. Пантелей Прокофьевич затевает разговор с родителями невесты, преодолевая с помощью свахи их полупритворное сопротивление. И вот перед гостями предстает Наталья.

«Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее — с головы до высоких красивых ног. Осмотрел, как барышник осматривает матку-кобылицу перед покупкой, подумал: “хороша” — и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный,

чуть смущенный, правдивый взгляд словно говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня» — «Славная», — ответил Григорий глазами и улыбкой».

Григорий и Аксинья после долгой разлуки снова видятся на мелеховском огороде, в густых подсолнухах. Аксинья жалуется на свою горькую участь. Степан ее «бьет каждый день!.. Кровь высасывает!».

Григорий смотрит в сторону. «Виноватого ищешь?» — перекусывая травяную былку, протянул он. Спокойный голос его обжег Аксинью. «Аль ты не виноват?» — крикнула запальчиво. «Сучка не захочет — кобель не вскочит».

Слезы Аксиньи тяжело действуют на Григория. Он пытается утешить ее, но делает это без души, по необходимости. Его слова («...давай с тобой прикончим... прикончим эту историю. А?») непомерным грузом обрушиваются на любящую женщину.

Но и для Григория этот разговор не проходит бесследно. Когда Петро попробовал подшутить над братом и Аксиньей, Григорий чуть не заporол его вилами. «Потемневший Петро держал под уздцы взволнованных криком лошадей, ругался: «Убить бы мог, сволочь!» — «И убил бы!» — «Дурак ты! Черт бешеный! Вот в батину породу выродился, истованный черкесюка!»

За свадебным столом Григорию тяжело и неловко. Он искоса поглядывает на Наталью. «И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке, пониже скулы, лепится коричневая родинка, а на родинке два золотистых волоска, и от этого почему-то стало муторно. Вспомнил Аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали ему за ворот рубахи на потную спину колючей сенной трухи».

На обратной дороге Григорий, удрученный свадебными обрядами, «в холодной отчаянной злобе шептал про себя ругательства». А в церкви его охватывает безразличие, он ждет не дождется конца венчания.

Хотя Григорий постепенно и начинает привыкать к своему новому положению, но «недели через три со страхом и озлоблением осознал в душе, что не вконец порвано с Аксиньей, осталось что-то, как заноза в сердце. И с этой болью ему не скоро расстаться. Крепко приросло то, на что он в жениховском озорстве играючи рукой помахивал, — дескать, загоится, забудется... А оно вот и не забылось и кровоточит при воспоминаниях». «...И по ночам, по обязанности лаская жену, горяча ее молодой своей любовной ретивостью, встречал Гришка с ее стороны холодок, смущенную покорность. ...И Григорий, вспоминая иступленную в любви Аксинью, вздыхал: “Тебя, Наталья, отец, должно, на крыге зачинал... Дюже леденистая ты”».

И уехав с Натальей в степь, пахать под озимь, Григорий чувствует, что его отчуждение от жены растет с каждым днем. В степном одиночестве, весь погруженный в свои думы, он осознает это особенно ясно и тоскливо говорит Наталье: «Чужая ты какая-то... Ты — как этот месяц: не холодишь и не греешь. Не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это, да нет, видно, так не прожить... И жалко тебя — кубыть, за все эти деньки и сроднились, а нету на сердце ничего... Вот как зараз в степе...»

Охлаждение Григория к молодой жене замечают и его родители. Они тревожатся и переживают, но изменить ничего не в силах.

Зимним утром Григорий и Петро едут в лес за хворостом. На дороге их поджидает Аксинья.

«Аксинья тревожно глядела по сторонам, переводила влажные черные глаза на Григория. Стыд и радость выжигали ей щеки, сушили губы. <...> «Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету», — твердо выговорила она...»

Григорий молчит, но потом, словно очнувшись от долгой дремы, рывком притягивает Аксинью к себе.

Напряжение в семье Мелеховых постепенно нарастает. Первым опять не выдерживает Пантелей Прокофьевич. Он напрямик спрашивает сына: почему Наталья собирается

уйти к родителям? И, постепенно распаяясь, он обрушивается на Григория: «Не будешь с Наташкой жить — иди с базу, куда твои глаза глядят! Вот мой сказ!»

Григорий тоже проявляет характер. «Я вам, батя, не во гнев скажу, — голос Григория был дребезжаще-глух, — не я женился, а вы меня женили. А за Натальей я не тянусь, хочет, нехай идет к отцу». «Одна, сдобренная турецкой примесью, текла в них кровь, и до чудного были они схожи в этот момент».

С проклятием выгоняет отец Григория из дома. Вслед уходящему мужу слышится тоскующий оклик Натальи, но тот не останавливается. «“Пропади ты, разнелюбая!” — Григорий скрипнул зубами, ускоряя шаги».

Переночевав у Мишки Кошевого, Григорий договаривается с Аксиньей о совместном уходе из хутора. Он решил наконец изменить свою жизнь. «Разошлись. На губах Григория остался волнующий запах ее губ, пахнувших то ли зимним ветром, то ли далеким, неуловимым запахом степного, вспрыснутого майским дождем сена».

Так Григорий очутился в имении Листницких, Ягодном, куда он, благодаря случайной встрече с сыном старого генерала, владельца имения, нанялся кучером. Сотник дал понять Григорию, что перед генералом казаку лучше всего выдать Аксинью за жену.

Теперь большую часть дня Григорий проводил на конюшне, набираясь опыта у деда Сашки, отчаянного пьяницы и замечательного знатока всего, что касалось лошадей.

Молодой Листницкий часто удостаивал Григория своим вниманием, заводил разговоры о лошадях, интересовался, как Григорий собирается улаживать отношения с мужем Аксиньи. Потом он повадился захаживать и в людскую, расспрашивал Аксинью о всяких пустяках, смущая ее пристальным взглядом «оголенных светлых глаз». Григорию эти посещения были не по сердцу.

В Вербное воскресенье Григорий возвращался из Миллерова, куда отвозил сотника. Чудом удалось ему спастись при переезде через уже набухшую весенней водой ледяную поверхность реки.

Измученный пережитым приезжает он в Ягодное, но отдохнуть Григорию пришлось недолго. Старый пан приказывает ехать с ним на охоту и поручает травить поднятого собаками волка.

Азарт преследования невольно захватывает Григория, он весь отдается буйной скачке.

После долгой погони матерый волчище уходит от преследователей на пашню, где конному за ним трудно угнаться. Еще немного — и зверь ушел бы в лог, но тут навстречу ему выбежали двое казаков, отрезая волку дорогу.

Волк резко затормаживает, и на него сваливается черный клубок собак. Григорий спрыгивает с коня с охотничьим ножом в руке. Зарезать волка ему помогает один из подбежавших пахарей.

Второй остается стоять поодаль. В нем Григорий узнал Степана Астахова.

«Григорий подошел к жеребцу. Ставя ногу в стремя, оглянулся. Степан, объятый неумемной дрожью шел к нему, поводя шеей, плотно прижав к груди тяжелые крупные руки»

Между ними происходит короткий и тяжкий обмен репликами. Говорил в основном Степан. «Обидел ты меня!.. Выхолостил мою жизнь, как боровка... Видишь вон, — Степан протянул руки черными ладонями вверх, — пашу, а сам не знаю на что. Аль мне одному много надо? Я бы походя и так прозимовал. А только скука меня убивает... Крепко ты меня обидел, Григорий!..» Особенно жалел Степан, что полтора года назад, в драке стенка на стенку, когда холостые бились с женатыми, пожалел он «зеленого» казачка («Ты бег шибко, напружинился весь: ежели б вдарить с потягом по боку, — не жил бы ты на свете!»).

Обменявшись угрозами, они разошлись. Григорий оглянулся. «Степан стоял, широко расставив ноги, перекусывая оскаленными зубами бурьянную былку. Григорию стало его безотчетно жаль, но чувство ревности оттеснило жалость...»

Аксинья долго скрывала от Григория беременность, боясь, что тот не признает ребенка своим. Григорий относится к известию сдержанно («...отвернувшись к окну, досадливо покашливал»). Он и в самом деле спрашивает, чей это ребенок. «Ты не брещи, Ксюшка! Хучь бы и от Степана, куда ж теперь денешься? Я по совести спрашиваю».

Аксинья убеждает: от Степана у нее за все предыдущие годы не было детей, ребенок несомненно от Григория. Больше об этом меж ними разговора не было, но в отношении Григория к Аксинье «вплелась новая прядка настороженной отчужденности и легкой насмешливой жалости». Аксинья тяжело переживает все это, замыкается в себе.

Легкая сытая жизнь в Ягодном понемногу портит Григория. Он обленился и растолстел.

В гости к брату приезжает Петро, сообщает о житье-бытье в родительском доме и интересуется, намерен ли Григорий и дальше перебиваться в батраках. Григорий признается ему: «Скучаю по хутору, Петро. По Дону соскучился, тут воды текучей не увидишь. Тошное место!»

Уже простившись с братом и выехав со двора, Петро вспомнил и крикнул: «Наталья-то... Забыл... беда какая...» Ветер, коршуном круживший над двором, не донес до Григория конца фразы; Петра с лошадьёю спеленала шелковая пыль, и Григорий, не расслышав, махнул рукой, пошел к конюшне».

Аксинья настояла на том, чтобы Григорий взял ее с собой на покос, хотя до родов ей оставалось совсем немного. Именно на поле и начались у нее схватки. Григорий во весь опор гонит лошадей к усадьбе. Аксинья, не в силах превозмочь боли и муки, неожиданно твердо говорит ему: «Я, Гриша, помираю. Ну... вот и все!»

«Он дрогнул. Внезапный холодок дошел до пальцев на потных ногах. Григорий, потрясенный, искал слов бодрости, ласки и не нашел; с губ, сведенных черствой судорогой, сорвалось: «Брещешь, дура!» Мотнул головой и, нагибаясь, переламываясь надвое, сжал подвернувшуюся неловко Аксиньину ногу. «Аксютка, горлинка моя!..»

Роды происходят на скаку, прямо в телеге. Григорий сам перегрыз пуповину новорожденной и завязал ниткой.

Подходит срок Григорию явиться на смотр, а у него все еще нет ни коня, ни амуниции. С помощью деда Сашки он покупает коня, у которого был скрытый изъян, но дед уверял, что никакое начальство его не обнаружит.

Амуницию Григорию привез неожиданно нагрянувший Пантелей Прокофьевич. Он завязывает с сыном незначительный разговор, подчеркнуто не обращая внимания на Аксинью.

В следующее посещение старик был гораздо ласковее, словно невзначай подошел к ребенку и «не без гордости удостоверил: «Наших кровей... Эж-гм... Ишь ты!»

В день отъезда Григорий «оторвал от себя иступленно целовавшую его Аксинью» и пошел прощаться с дедом Сашкой и остальными.

Пока плелись потихонечку до станицы, Пантелей Прокофьевич расспрашивал сына, не собирается ли тот вернуться к жене, а услышав решительный отказ, резанул по больному месту: «Ты гляди... не чужого вскармливаешь?»

«Григорий побледнел: тронул отец незарубцованную болячку. <...> Временами ему казалось, что дочь похожа на него, иногда до боли напоминала она Степана. К ней ничего не чувствовал Григорий, разве только неприязнь за те минуты, которые пережил, когда вез скорчившуюся в родах Аксинью со степи. <...> Отец безжалостно кольнул в больное, и Григорий, сложив на луке ладони, глухо ответил: «Чей бы ни был, а дите не брошу».

Разговора о Наталье, которая после покушения на самоубийство долго лежала в больнице, а теперь собиралась снова перейти в мелеховский дом, Григорий не поддержал.

Комиссия, осматривавшая казаков-новобранцев, была поражена силой и весом Григория, но чирьи на спине (последствие весенней переправы) и диковатые «восточные» глаза помешали ему попасть в привилегированный Атаманский полк — его назначили в обычный, Двенадцатый.

Коня Григория, вопреки посулам деда Сашки, все же забраковали. Пришлось на смотре заменять его лошадей Петра.

Через день эшелон красных вагонов, груженных молодыми казаками, лошадьми и фуражом, направился на Воронеж.

Ранней весной 1914 года Григорий со своим полком находился в четырех верстах от русско-австрийской границы, в местечке Радзивиллово.

Здесь он получил письмо, написанное Дуняшкой. Помимо обычных поклонов и хозяйственных подробностей Пантелей Прокофьевич извещал сына, что у Дарьи «дите... померло», а Наталья «проживает у нас и находится в здравии и благополучии»; «про жену не забывай, мой тебе приказ. Она ласковая баба и в законе с тобой. Ты борозду не ломай и отца слухай».

С ответом Григорий не стал торопиться. Коротенькое письмецо от него пришло лишь после Троицы. В самом конце Григорий сообщал: «...Вы просили, чтоб я прописал, буду я аль нет жить с Натальей, но я вам, батя, скажу, что отрезанную краюху не прилепишь. И чем я Наталью теперь примолвлю, как у меня, сами знаете, дите? А сулить я ничего не могу, и мне об этом муторно говорить. Нады поймали на границе одного с контрабандой, и нам довелось его повидать, объясняет, что вскорости будет с австрийцами война, и царь ихний будто приезжал к границе, осматривал, откель зачинать войну и какие земли себе захватить. Как начнется война, может, и я живой не буду, загодя нечего решать».

Четвертая сотня, к которой теперь был приписан Григорий, квартировала в имении княгини Урусовой, расположенном неподалеку от железной дороги.

«Нудная и одуряющая потекла жизнь. Молодые казаки, оторванные от работы, томилась первое время, отводя душу в разговорах, перепадавших в свободные часы. <...> ...Григорий... чувствовал, как исходит весь каменной горючей тоской. ...В такие минуты беспредельно хотелось Григорию встать, пройти в конюшню, заседлать Гнедого и гнать его, роняя пенное мыло на глухую землю, до самого дома».

Казаки вспоминали о родных домах, жаловались друг другу на скуку и придиричность вахмистров, зубоскалили.

Вахмистр Егоров и впрямь был зол и придиричив. За малую оплошность он с силой хлестнул Прохора Зыкова плетью по лицу, хотел ударить и Григория, нечаянно уронившего в колодец ведро. «Лезь, гад, вынимай! Морду искровеню!..» — «Выну, а ты не трожь!» — не поднимая головы, медленно растягивал слова Григорий. <...> «Гротишь?.. Да я тебя в мокрое!..» — «Вот что, — Григорий оторвал от сруба голову, — ежели когда ты вдаришь меня — все одно убью! Понял?»

Вахмистр так растерялся от неожиданного отпора, что отошел ни с чем, хотя после этого случая и придирился к Григорию по каждому поводу, то и дело посылая его в наряды вне очереди.

Случайно Григорий становится свидетелем насилия группы казаков над молоденькой горничной, которую они затащили в конюшню. Григорий попытался было кликнуть вахмистра, но его связали и закатали в попону. Когда все было кончено, тот же вахмистр и казак из чужого взвода пригрозили ему расправой, если он хоть слово пикнет. В этот день Григорий «в первый раз за длинный отрезок времени чуть-чуть не заплакал».

Война, хоть и ходили о ней слухи, нагрянула неожиданно, начавшись для казаков с неразберихи, спешки, срочного переезда. День спустя полк выгрузился на станции, удаленной от границы на тридцать пять верст.

Выступили в поход. Ехавший рядом с Григорием Прохор Зыков спросил его, не боится ли Григорий. Тот отделался ничего не значащими словами. Он и в самом деле чувствовал только усталость и дремал в седле.

Пробудил Григория далекий гул стрельбы. Сотня Григория направилась в деревню, в которой царили смятение и суматоха.

В полдень казаки проехали границу. Впереди лежала деревушка, полностью безлюдная. За ней вскоре показался небольшой город. С холма было видно, как по улице снуют фигурки в непривычных мундирах.

Поскольку у Григория конь был лучше остальных, вахмистр направил Мелехова к командиру полка с донесением. Выполнив задание, Григорий возвратился в свою часть. Не успел он спешиться, как последовала команда, и сотня бросилась в атаку.

Навстречу огненному смерчу понеслась конная лава. Григорий «как сквозь запотевшие стекла бинокля, видел бурую гряду окопов, серых людей, бежавших к городу. <...> В середине грудной клетки Григория словно сдубело то, что до атаки суетливо гоняло кровь, он не чувствовал ничего, кроме звона в ушах и боли в пальцах левой ноги. Выхолощенная страхом мысль путала в голове тяжелый, застывающий клубок».

Упал с коня Прохор Зыков и был растоптан скакавшим сзади казаком, однако никто на это даже не оглянулся.

В числе передних подскакал Григорий к окопам неприятеля. Высокий белобрысый австриец почти в упор выстрелил в него, но не попал. Григорий на скаку пронзил его пикой. «Удар был настолько силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него».

Конь понес Григория по улице предместья. Впереди, обеспамятев от страха, бежал безоружный вражеский солдат. «Распаленный безумием, творившимся вокруг» Григорий опустил шашку на висок австрийца, стесав кожу. «Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с длинным потягом развалил череп надвое».

Сам не зная, для чего, Григорий подошел к зарубленному им солдату, посмотрел ему в лицо и «спотыкаясь, пошел к коню. Путано-тяжек был шаг его, будто нес за плечами непосильную кладь; гнусь и недоумение комкали душу. Он взял в руки стремя и долго не мог поднять затяжелевшую ногу».

Долго еще чудился Григорию первый убитый им неприятель. «Необычно часто переживал он во сне ту первую схватку, и даже во сне, отягощенный воспоминаниями, ощущал он конвульсию своей правой руки, зажавшей древко пика; просыпаясь и очнувшись, гнал от себя сон, заслонял ладонью до боли зажмуренные глаза».

И другие казаки, замечает Григорий, после боя переменились. Прохор Зыков, выживший под копытами конницы, вернулся из лазарета, все еще тая на лице боль и недоумение; другой при всяком случае ругался тяжело и непристойно; третий «нелепо похохатывал, смех его был произволен, угрюм. Перемены вершились на каждом лице, каждый по-своему вынашивал в себе и растил семена, посеянные войной».

Изменился и Петро, которого Григорий встретил во время передышки, данной их полку после боя. Он признается брату: «Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый какой... Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплюнули. <...> Меня совесть убивает. Я под Лешнювом заколол одного пикой. Сгоряча... Иначе нельзя было... А зачем я этого срубил?»

Григорий спрашивает брата о домашних новостях и подтверждает свое решение не возвращаться к Наталье («Замуж бы выходила»).

Здесь же, у пруда, где отдохали они с Петром после купания, встречает Григорий и Степана Астахова, все такого же непримиримого. Петро говорит: «Мне сказывали казаки,

дескать, пьяный Степан грозился: как первый бой — даст тебе пулю». Однако на этот раз Григорий и Степан разошлись без столкновения.

В сотне Григория появляется новый урядник по прозвищу Чубатый, казак непомерной силы и жестокости. Его боятся кони, он и сам признает, что сердце у него «волчиное». Чубатый учит Григория не жалеть человека: «Поганый он, человек... Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба-поганки».

Урядник преподносит Григорию и другим казакам наглядный урок извращенного бессердечия. Вызвавшись отвести пленного в штаб, через несколько сотен метров Чубатый без всякой причины страшным ударом рассек его надвое.

Григория эта ненужная жестокость потрясла. «Рванув за ремень винтовку, Григорий стремительно вскинул ее к плечу. Палец его прыгал, не попадая на спуск, странно косилось побуревшее лицо. <...> Урядник, пихая Григория в грудь, вырвал у него винтовку, лишь Чубатый не изменил положения: он все так же стоял, отставив ногу, держался левой рукой за пояс. «Стреляй ишшо». <...> «Брешьешь, не убьешь!..» — сдержанно смеялся Чубатый, подпрыгивая отставленной ногой».

В новом бою Григорий зарубил искусно фехтовавшего венгерского офицера, но сам был ранен. Страшный удар обрушился на него сзади. «Все», — змейкой скользнула облегчающая мысль. Гул и черная пустота».

О том, что произошло с Григорием далее, читатель узнает из двух письменных сообщений, полученных родителями Григория. В первом их уведомили, что их сын «пал смертью храбрых» 16 сентября 1914 года. А через две недели пришло и письмо от Петра. Он извещал, что Григорий в беспмятстве пролежал на поле боя до ночи, а потом «очухался и пополз. И пополз он, по звездам дорогу означая, и напал на раненого нашего офицера. Был этот офицер раненый — подполковник драгунского полка, и ранило его снарядом в живот и в ноги. Григорий взял его и тянул волоком на себе шесть верст. А за это вышла ему награда — Георгиевский крест, и в младшие урядники произвели Гришку. Вот так! Ранение у Гришки оказалось пустяковое, скобленул его неприятель палашом в голову, кожу стесал, а упал с коня и омером его вдарило. Зараз он в строю».

Чубатый залепил рану Григория смесью паутины и пороха, и в тот же день включился Мелехов в военные будни, приносящие все новые испытания. На глазах Григория бомбой, сброшенной с аэроплана, одному из казаков оторвало ноги, и он исходил смертным нечеловеческим криком. Досталось тогда и Григорию. Комом земли ему повредило глаз, и его отправили в тыл на лечение.

Санитарный поезд привез Григория в Москву, и сестра милосердия проводила казака в глазную клинику, поразившую непривычного к комфорту Григория своим великолепием. «В передней, проходя мимо большого стенного зеркала, Григорий не узнал себя: высокий, чернолицый, остросулый, с плитами жаркого румянца на щеках, в халате, с повязкой, вьедавшейся в шапку черных волос, он отдаленно лишь походил на того, прежнего, Григория».

Сосед Григория по палате, Гаранжа, ругал все на свете — власть, войну, повара, докторов, свою горькую участь. Он внедряет в голову Григорию неизвестные тому прежде истины, едко высмеивает самодержавие, вскрывает «подлинные причины возникновения войны». Григорий пробует ему возражать, но Гаранжа легко загоняет его в тупик своими аргументами.

«Самое страшное в этом было то, что сам он в душе чувствовал правоту Гаранжи и был бессилен противопоставить ему возражения, не было их и нельзя было найти. <...> В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой, бесхитростный ум Григория».

Глаз Григорию вылечили, но тут неожиданно открылась рана на голове, и из клиники его перевели в госпиталь.

Здесь Григорий в очередной раз продемонстрировал свой взрывной характер. Во время посещения госпиталя какой-то царственной особой, раздававшей солдатам иконки, Григорий испытывает чувство озлобления. «Сытые какие все, аж блестят. Туда б вас, трижды проклятых! на коней, под винтовку, вшами вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить!..»

Наконец высокий гость подходит к Григорию и спрашивает — за что тот награжден крестом. Мелехов «на мгновение ощутил холодок и покальвание в груди; такое чувство являлось в первый момент атаки». «Я бы... Мне бы по надобности сходить... <...> по малой нужде», — выдавливая Григорий.

Легкое замешательство пробежало по свите, но инцидент замяли. Только заведующий госпиталем после ухода особы обругал Григория «каналей». «“Я тебе не каналья, гад! – не владея нижней отвисшей челюстью, шагая к доктору, сказал Григорий. – На фронте вас нету!” И, осадив себя, уже сдержанней: “Отправьте меня домой”. Доктор, пятясь от него, зашел за письменный стол, сказал мягче: “Отправим. Убирайся к черту!”»

Вскоре Григорий уехал на побывку в родные места. Первое, что по-настоящему показалось ему близким и теплым, своим, была казачья песня, которую он и сам не раз в былые времена игрывал.

А из-за леса блестят копия мечей,
Едет сотня казаков-усачей.

Жадно вдыхая кизячный дым, Григорий наконец-то почувствовал себя дома, хотя до Ягодного оставалось еще несколько десятков верст. Однако вместе с радостью возвращения пришло и горькое чувство. «Давно играл я, парнем, а теперь высох мой голос и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене на побывку, без утла, без жилья, как волк буерачный...» – думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью.

До имения он добрался уже ночью. Проходя мимо конюшни, Григорий услышал гулкий кашель деда Сашки и решил заглянуть к нему. Старик нехотя рассказал ему о связи Аксиньи с молодым Листницким.

«“Ну что ж...” – Григорий хрустнул мослаками пальцев и долго сидел, сгорбившись, выправляя мускул щеки, сведенный судорогой. В ушах его раздольными бубенцами разливались звоны».

Аксинья при появлении Григория казалась скорее испуганной, нежели обрадованной. Но и в такой ситуации Григорий замечает, как похорошела Аксинья. «Что-то новое, властное появилось в посадке красивой головы, лишь пушистые крупные кольца волос были те же, да глаза... Губительная, огневая ее красота не принадлежала ему. Еще бы, ведь она любовница панского сына».

Под каким-то предлогом Григорий вышел на крыльцо, достал из сумки яркий переличатый платок, купленный для Аксиньи, и, поборов подступившее сухое рыдание, разорвал его на мелкие части...

Григорий поужинал и скоро уснул, а Аксинья всю ночь простояла на крыльце, не чувствуя холодного пронизывающего ветра.

Утром Григорий пошел показаться генералу. К ним скоро присоединился и Евгений, собиравшийся куда-то уезжать. «Ваше благородие, позвольте вас прокатить по старой памяти?» – обратился к нему Григорий, заискивающе улыбаясь. И хотя у того и мелькнуло подозрение, что Григорий знает о его связи с Аксиньей, Евгений отогнал его.

Во всю гонит Григорий коня. В первой же ложбине он соскочил с козел и выдернул кнут из-под сидения. «Григорий коротко взмахнул кнутом, со страшной силой ударил сотника по лицу. Перехватив кнут, он бил кнутовищем по лицу, по рукам, не давая сотнику опомниться. Осколок разбитого пенсне врезался тому выше брови. На глаза падали крова-

ные струйки. <...> “За Аксинью! За меня! За Аксинью! Ишшо тебе за Аксинью! За меня!” <...> Потом кулаками свалил на жесткий кочкарник дороги и катал по земле, бил зверски, окованными каблуками солдатских сапог».

Вихрем ворвавшись в имение, Григорий грубо обругал Аксинью и кнутом ожег по лицу.

Задыхаясь, ничего не видя вокруг, идет Григорий к себе на хутор, не обращая внимания на мольбы догнавшей его Аксиньи. Уже на подходе к Татарскому с недоумением обнаружил он в своей руке кнут и выбросил его.

Родители и Наталья встретили его на крыльце. О прошлом никто не поминал.

Зимой 1916 года 12-й казачий полк разместился на диком болотистом участке. Григорий вышел из прокуренной землянки и загляделся на мерцающие звезды. Воспоминания нахлынули на него. Привиделась ему Аксинья, не с багровым рубцом от кнута, а улыбающаяся любовно и ласково; он будто вдруг въявь ощутил запах ее волос. Вспомнился и родительский дом, жадные ласки Натальи; повсеместный почет, которым встречали на хуторе первого Георгиевского кавалера, и наивная гордость за сына Пантелея Прокофьевича. «И весь этот сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравлял из сознания семя той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой».

Вспомнился Григорию и случай, столкнувший его со Степаном Астаховым. В неудачном наступлении немцы окружили казачьи сотни, и те, стремясь прорвать кольцо, снова кинулись в атаку. Григорий видел, как под Степаном убили коня, и тогда он, «обожженный внезапной и радостной решимостью», подскакал к Астахову и крикнул: «Хватайся за стремя!» Шальная пуля ранила Степана в ногу уже почти рядом со спасительным лесом. Не раздумывая, «подчиняясь сердцу», усадил Григорий Степана в седло, а сам побежал сбоку.

Уже когда они были в безопасности, Степан признался, что в последнем ночном наступлении он три раза стрелял в Григория, потому что не может ему простить Аксиньи. «Они разошлись по-прежнему непримиренные».

И другие случаи вспомнились Григорию, как не раз ему приходилось рисковать головой, ходить переодетым во вражеский тыл, брать языков. Он чувствовал при этом, что «ушла безвозвратно та боль по человеку, которая давила его в первые дни войны. Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого прослыл храбрым — четыре Георгиевских креста и четыре медали выслужил».

Переменился и Чубатый, с которым Григорий обитал в одной землянке. Он тоже пришел к отрицанию войны, но не желал и каких-либо изменений существующих порядков. Казакам, считал он, нужен царь, только царь, обладающий «твердой рукой». Мысли, перенятые Григорием у Гаранжи, не находили у Чубатого поддержки.

Вместе с Чубатым Григорий «арестовывает» червивые щи, которыми кормят казаков, и сообщая с остальными требует у сотенного смены каптенармуса. И быть бунту, если бы не пришлось срочно менять позицию.

Перед штурмом высоты (ее казакам пришлось брать в пешем строю) Григорий признается Чубатому, что у него появилась какая-то робость («Будто в первый раз иду наступать»).

Предчувствие сбылось. После первого же залпа противника Григорий был ранен в руку. Казаками, нарвавшимися на бешеный огневой отпор, овладевает паника. Заразился ею и Григорий. «Ничем не объяснимый и не оправдываемый страх поставил его на ноги

и также заставил бежать вниз, туда, к острозубчатой проше соснового леса, откуда полк развивал наступление».

В январе 1917 года Григорий за боевые отличия был произведен в хорунжие и назначен во 2-й запасной полк взводным. Осенью, отболев воспалением легких, он полтора месяца прожил дома, а затем вновь вернулся в полк и после Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни.

Среди новых сослуживцев Григория оказался сотник Ермил Изварин, заядлый автомобилист. Григорий волей-неволей усвоил многие его взгляды. Одаренный и хорошо образованный, досконально знающий историю родного края, Изварин доказывал, что лишь отделение Дона от России принесет казакам благоденствие. Далекое не во всем соглашался с сотником Григорий, но «полуграмотный... был безоружен по сравнению со своим противником, и Изварин легко разбивал его в словесных боях».

И еще с одним казаком, сыгравшим в революцию на Дону немалую роль, вахмистром Федором Подтелковым, свела Григория фронтовая судьба. Здоровенный казачище не соглашается с Григорием, пересказывающим мысли Изварина. Подтелков возражает Мелехову: «Надо стараться, чтоб власть к народу перешла. А это — басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари и теперь не цари, так другие-прочие придают, аж запишим!..»

Григорий мучительно старается разобраться в многоголосице мнений, однако это плохо удается — своих твердых убеждений у него не было.

10 января 1918 года Григорий участвует в казачьем съезде, собравшемся в станице Каменской. Там его и нашли односельчане, Иван Алексеевич и Христоня. От них он узнает о том, что происходит в родном хуторе, куда давно уже не приходилось ему заглядывать.

Внимательно слушают казаки речи делегатов, одобряя их «призывно-горячие слова», выспрашивая у Григория, кто сейчас выступает.

Григорий же слушает и думает о своем. Перед съездом бежавший от большевиков Изварин побывал у Григория и осведомился: «Ты... кажется, принял красную веру?» Григорий был вынужден признать, что это «почти» правда, а Изварин выразил опасение — не окажутся ли они в скором времени врагами?

Душевную сумятицу Григория усугубляет и известие о том, что на станции видели Листницкого. Он «понял, что не заросла давностью старая ранка: тронь неосторожным словом, закровоточит. За давнее сладко отомстил бы Григорий — за то, что по вине проклятого человека выцвела жизнь и осталась на месте прежней полнокровной большой радости сосущая голодная тоска, линиялая выцветень».

Перед рассветом на станицу, в которой стояли казаки, нападают отряды Чернецова и белогвардейцев. Как ни старался Григорий организовать сопротивление, его не слушают. Наконец Григорию и другим командирам удалось кое-как собрать бежавших и вступить в бой с противником.

Григорий с двумя сотнями, выполняя приказ Голубова, обошел нападавших скрытым маневром и ударил с фланга.

Он снова был ранен, хоть и не очень сильно, но пуля осталась в бедре. Григорий не слезает с седла, только уступает командование другому.

Прискакал посыльный, сообщивший, что белые разбиты, а сорок их офицеров и командир нападавших, Чернецов, взяты в плен.

Григорию, отправившемуся в штаб ревкома, Голубов велел передать, что Чернецова он берет на поруки. Мелехов в точности выполнил поручение, но реакция Подтелкова на его слова была неожиданной. «Плевать мне на Голубова!.. Мало ли чего ему захочется! На поруки ему Чернецова, этого разбойника и контрреволюционера?.. Не дам!.. Расстрелять их всех — и баста!»

Григорий вышел из себя, забыв про рану, прыгнул с коня к Подтелкову и, «простреленный болью, упал навзничь. Из раны, обжигая, захлопала кровь. Поднялся он без посторонней помощи, кое-как доковылял до тачанки, привалился боком к задней рессоре».

Довелось Григорию и стать невольным свидетелем расправы над Чернецовым и другими пленными — Подтелков выполнил-таки свою угрозу. «Григорий в первый момент, как только началась расправа, оторвался от тачанки, — не сводя с Подтелкова налитых мутью глаз, хромя, быстро заковылял к нему. Сзади его поперек схватил Минаев, — ломая, выворачивая руки, отнял наган: заглядывая в глаза померкшими глазами, задыхаясь спросил: “А ты думал — как?”»

После боя под Глубокой Григорий пролежал с неделю в походном лазарете и отправился долечиваться домой. «Ехал Григорий со смешанным чувством недовольства и радости: недовольства потому, что покидал свою часть в самый разгар борьбы за власть на Дону, а радость испытывал при одной мысли, что увидит домашних, хутор; сам от себя таил желание повидать Аксинью, но были думки и о ней. <...> Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там, позади, все было путано, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа; как в топкой гати, зыбилась под ногами почва, тропа дробилась, и не было уверенности — по той ли, по которой надо, идет. Тянуло к большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. “Неужто прав Изварин? К кому же прислониться?” Об этом невольно думал Григорий, привалясь к задку кошевки».

Присутствие отца, приехавшего за Григорием в госпиталь, не мешало отдаваться раздумьям, спорить со стариком, ярим приверженцем Каледина, не хотелось. А Пантелей Прокофьевич, гордившийся сыном, повез Григория к дому не напрямую, а по главной улице, всему хутору на обозрение. Но триумф ему испортил поросенок, попавший невзначай под копыта лошадей. Длинноязыкая хозяйка так начала костерить неловкого кучера, что тот, от греха подальше, погнал коней во весь дух.

После поцелуев и объятий с домашними Григорий привлек к себе дочь и сынишку, они же дичились, почти не зная отца.

«Григорий положил руку на широкую, рабочую спину жены, в первый раз подумал: “Красивая баба, в глаза шибается... Как же она жила без меня? Небось завидовали на нее казаки, да и она, может, на кого-нибудь позавидовала. А что ежели жалмеркой принимала?” От этой неожиданной мысли у него екнуло сердце, стало пакостно на душе».

Потом Григорий роздал подарки, и мужчины уселись отдельно — покурить. Пантелей Прокофьевич стал выпрашивать о положении на фронте, а Петро задал прямой вопрос: какой стороны держится брат?

Большевистская ориентация Григория раздражает и отца, и брата. Разгорается спор о политике, прерванный только приходом казаков-однопольчан.

Наутро Григорий проснулся позднее всех. По неотступной просьбе Натальи он надел мундир с погонами хорунжего, весь густо увешанный крестами и медалями. Петро и женщины искренно любовались бравым казаком.

После сытного праздничного обеда из множества блюд, Григорий прилег на кровать и с улыбкой прислушивался к тому, как Петро беззлобно поддразнивает Мишатку.

К весне вовсю разгорелась страшная запутанная междоусобица гражданской войны на Дону. Нелегко было малограмотным казакам разобраться, на чьей стороне правда; всем хотелось отдохнуть от многолетней жестокости, крови и грязи, но жизнь требовала не складывать оружия. Одновременно с боевыми действиями начинается и разлад между друзьями, соседями, однополчанами и родственниками.

Григорию не хотелось воевать ни за большевиков, ни за сепаратистов, но надо было как-то определяться, прибиваться к одному берегу.

Для выработки хоть какой-нибудь общей линии казаки собрались на станичном майдане.

Выступивший перед народом незнакомый офицер рассказал, как на хуторе Сетракове отряд красногвардейцев начал грабить, насиловать и производить незаконные аресты. Возмущенные казаки разгромили Сетраковский ревком, избрали станичного атамана и хотят отстаивать свою независимость оружием. Окончив речь, сотник начал читать печатное воззвание.

Григорий не торопясь вышел из толпы и направился к дому. Его уход замечает старик Коршунов и спешит сообщить об этом Пантелею Прокофьевичу. Тут же к оклику отца присоединяются и другие хуторяне. «Выкрики долетели и до слуха Григория. Стиснув зубы, он слушал, видимо, боролся с собой; казалось, еще минута — и пойдет без оглядки. Пантелей Прокофьевич и Петро облегченно вздохнули, когда Григорий качнулся, пошел на толпу, не поднимая глаз».

Сход завершился выборами станичного атамана (выбрали Мирона Григорьевича Коршунова) и командира отряда, организовывающегося в станице. Толпа с одобрением встретила предложение сотника — назначить командиром Григория. Сам же он «багровея, вышел на середину круга, затравленно оглянувшись».

Однако избранию Григория воспротивились старики, по традиции имевшие решающий голос на сходках. «...Как мы можем ему доверять, ежели он сам был в Красной гвардии, служил у них командиром и только два месяца назад как вернулся отсель по ранению».

«Да я и не нуждаюсь! На кой черт вы мне сдались! – кричал... Григорий, краснея от напряжения... – Я и сам не возьмусь! На черта вы мне понадобились!»

Командиром избрали Петра.

Наутро на площади собралось около сорока всадников вместо шестидесяти записавшихся, добровольно или под нажимом, станичников. «Веселое настроение не покидало казаков до самой станицы Кургинской. Шли с полным убеждением, что никакой войны не будет, мигулинское дело — случайный налет большевиков на казачью территорию». К общему удовольствию, в Мигулинской им приказали возвращаться по домам и озабочиться пополнением отряда — уж слишком мало бойцов дала Вешенская.

До Пасхи жизнь на хуторе текла мирно. А в Страстную субботу прискакал из Вешенской нарочный и передал приказ снаряжать отряд, идти навстречу Подтелкову и Красной гвардии.

Однако никто не спешил. Только после разговенья, на первый день Пасхи, вышел из хутора разномастный, хотя и увеличившийся до сотни отряд. После того, как подтелковцы были разгромлены (Григорию в этом участвовать не пришлось), пленных красноармейцев приговорили к расстрелу. Среди обреченных находились и Подтелков с Кривошлыковым.

«Григорий Мелехов, протискиваясь сквозь раздерганную толпу, пошел в хутор и лицом к лицу столкнулся с Подтелковым. Тот, отступая, прищурился: «И ты тут, Мелехов?». Синеватая бледность облила щеки Григория, он остановился. «Тут. Как видишь...» — «“Вижу... – вкось улыбнулся Подтелков, глядя на его побелевшее лицо. — Что же, расстреливаешь братьев? Обернулся?... Вон ты какой... – он, близко подвинувшись к Григорию, шепнул: — И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх, ты!..” Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь: “Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли?... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходил ты, председатель донского Совнаркома! Ты, поганка, казаков жидам продал! Понятно? Ишо сказать?”». Христоня, обнимая, отвел в сторону взбесившегося Григория. «Пойдем, стал быть, к коням. Ходу! Нам с тобой тут делать нечего. Господи Божа, что делается с людьми!» Отходя, они слышали голос Подтелкова, убеждавшего толпу в своей правоте, доказывавшего казакам, что они обмануты офицерами.

«Глядите, сколько мало осталось, кто желал бы глядеть на нашу смерть. Совесть убивает! Мы за трудовой народ, за его интересы дрались с генеральской псюрней, не щадя живота, и теперь вот гибнем от вашей руки! Но мы вас не клянем!.. Вы — горько обманутые! Заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне была правда. Лучших сынов тихого Дона поклади вы вот в эту яму...». «Григорий, не дослушав, пошел, почти побежал к двору, где привязанный, слыша стрельбу, томился его конь. Подтянув подруги, Григорий и Христоня наметом выехали из хутора, — не оглядываясь, перевалили через бугор».

К концу апреля 1918 года Дон на две трети был оставлен красными. Войсковым атаманом белоказачьей армии, развернувшей военные действия против красных, Державный Войсковой крут избрал генерала Краснова. Среди белоказаков и сотня из Татарского под командованием Петра Мелехова. Григорий командует взводом.

Петр, попавший «в свою борозду», чувствует, что брата одолевают сомнения. «Мутишься ты... Боюсь, переметнешься ты к красным... Ты, Гришатка, до се себя не нашел». И хотя ответ Григория неуверен, почти неопределен («Навряд... Не знаю»), братья понимают, что «стежки», прежде сплетавшие их друг с другом, «поросли непролазью пережитого».

Мало-помалу Григорий проникается злобой к большевикам. «Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли! Он видел: такое же чувство завладевает и остальными казаками. Всем им казалось, что только по вине большевиков, напавших на область, идет эта война».

Меньше стали брать в плен, участились случаи расправ над пленными. Широкой волной разлились по фронту грабежи, «брали и казаки и офицеры». Грабеж на войне всегда был для казаков «важнейшей движущей силой», и Григорий знает это еще по опыту германской войны. Но ему такие привычки не привились, «он брал лишь съестное да корм коню, смутно опасаясь трогать чужое и с омерзением относясь к грабегам. Особенно отвратительным казался в его глазах грабеж своих же казаков». Григорий жестко держит сотню, которой он уже командует. Если его казаки берут, то таясь и в редких случаях. Характерна в этом отношении ссора Григория с отцом, приехавшим с Дарьей на подводе в его сотню грабить хуторян, чьи родственники ушли с красными. «Своего мало? Хамы вы! За такие штуки на германском фронте расстреливали!»

Не приказывал Григорий раздевать и уничтожать пленных, чем вызвал на себя гнев начальства. За мягкосердечие Григория из сотников разжаловали во взводные. Но понижение в должности его не огорчило, и Григорий с радостью передает сотню, понимая, что ответственность за жизнь хуторян он теперь не будет нести.

Григорий равнодушно наблюдает за ходом «игрушечной войны»: бои идут местного значения, вялые, с малыми потерями. Сама идея Краснова идти освобождать Москву от большевиков Мелехову глубоко чужда. Как и подавляющее большинство донских казаков, Григорий не желает выходить за пределы родной области, отрывать от своего хутора. Он знает, что к зиме уже фронта не будет, что казаки настроены примиренчески. Так казак Охваткин, прочитав статью о чехословацком мятеже, заявляет в присутствии Григория: «Вот придавят чеха, а потом как жмякнут на нас всю армию, какая под ним была, — и потекет из нас мокрая жижа... Одно слово — Расея!» На что Мелехов про себя «с тихим злорадством» решил: «Верно!». А после он долго сидел в этот вечер за столом, «думал с тугой, непривычной трудностью и, уже ложась спать, словно отвечая на общий вопрос, сказал: «Некуда податься!»

Григорий воюет вяло, равнодушно, нехотя, но при этом не прячется от опасности. «Три коня были убиты под Григорием за осень, в пяти местах продырявлена шинель... Однажды пуля насквозь пробил медную головку шашки, темляк упал к ногам коня, будто перекушенный. «Кто-то крепко за тебя молится, Григорий», — сказал Митька Коршунов и удивился невеселой григорьевой улыбке».

Тем временем недовольство войной усиливается, красные наступают по всему фронту, а казаки из армии Краснова постепенно возвращаются в родные хутора. Так и Григорий однажды ноябрьской ночью «с радостной решимостью» покидает вешенский полк и возвращается домой.

Дома Григорий вместе с братом решают дождаться красных, а не уходить с другими казаками «в отступ». Но отношения Григория с красноармейцами не складываются, хотя он «духом готов на любое испытание и унижение, — лишь бы сберечь свою и родимых жизнь».

Через два дня после прихода в Татарский красных Григория пригласили на вечеринку к Аникушке, где вместе гуляют хуторяне и красноармейцы. Все пьют и веселятся, кроме Григория. Он почти не притрагивается к стакану, настороженно ожидая чего-то худого. Во время танца молоденькая бабенка предупреждает его: «Тебя убить сговариваются... Кто-то доказал, что ты офицер... Беги...».

Узнав об опасности, Григорий веселеет. Он входит на улицу, где его уже караулят. Мелехов вырывается, ломая руку красноармейцу, задержавшему его, и бежит за Дон. Там, засыпая в брошенной копне, он «нехотя подумал: “Заседлать завтра и махнуть через фронт к своим?” — но ответа не нашел в себе...». И все же, после ухода из Татарского красноармейцев, Григорий возвращается в Мелеховский курень, уже не жалея, что не ушел вместе с отступающими казачьими войсками.

Окончательный разрыв с красными происходит у Григория во время разговора с Иваном Алексеевичем Котляровым и Михаилом Кошевым в доме Мохова, куда Григорий завернул «на огонек». Григорий пытается поделиться со своими друзьями мыслями, которые его мучают. Чем лучше для казаков Советская власть прежней власти? «Земли дает? Воли? Сравняет?.. Земли у нас — хоть заглотнись ею. Воли больше не надо, а то на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами выбирали, а теперь сажают... Казакам эта власть, окромя разору, ничто не дает!»

Куда делось обещанное большевиками равенство? «Красную Армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а “Ванек” в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны, и тужурка, а другому и на ботинки не хватает... Какие бы поганые офицеры ни были, а как из казуни выйдет какой в офицеры — ложись и помирай, хуже его не найдешь! Он такого же образования, как и казак: быкам хвосты учился крутить, а глядишь — вылез в люди и сделается от власти пьяный, и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке».

Но эти потаенные мысли Мелехова, высказанные им сгоряча, убеждают Кошевого и Котлярова лишь в том, что Григорий «чужой стал», что он «Советской власти враг». «Ты такие думки при себе держи», — говорит ему Иван Алексеевич. «А то хоть и знакомец ты мне и Петро ваш кумом доводится, а найду я против тебя средства! Казаков нечего шатать, они и так шатаются. И ты поперек дороги нам не становись. Стопчем!..».

Для Мелехова же после этого разговора то, что казалось неясным, неожиданно предстало с предельной ясностью. «И оттого, что он стал на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, — родилось глухое неумолчное раздражение».

Григорий понимает, что над его головой сгущаются тучи, поэтому он охотно соглашается в обывательском обозе отвезти для красноармейцев снаряды на Боковскую. «Перегожу время на Сингином, у тетки... что-то мне страшновато тут ждать...» — говорит он Петру.

Выезжая с подводой, Мелехов продолжает размышлять о Советской власти. «Они воюют, чтобы им лучше жить, а мы за свою хорошую жизнь воевали... Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет... А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался... В старину, слышно, Дон татары обижали, шли отнимать землю, невольт. Теперь — Русь! не примирюсь я! Чужие они мне и всем-то казакам. Казаки теперь почунеют. Бросили фронт, а теперь каждый как я: ах! — да поздно».

Сон и явь путаются у него в голове. «Во сне он ходил с Аксиньей по высоким шуршащим хлебам. Аксинья на руках бережно несла ребенка, сбоку мерцала на Григория стерегущим взглядом... В нем цвело, бродило чувство, он любил Аксинью прежней изнуряющей любовью, он ощущал это всем телом, каждым толчком сердца и в то же время сознавал, что не явь, что мертвое зияет перед его глазами, что это сон. И радовался сну и принимал его, как жизнь...»

После Боковской Григория заставили ехать на Чернышевскую, откуда он вернулся через полторы недели домой. Дома Григорий узнает от Петра об аресте отца и о том, что его тоже собираются арестовать. Незадолго до возвращения Мелехова приехавший в Татарский Штокман на сходе объявил список арестованных казаков (их, как выяснилось, расстреляли к тому времени в Вешках), среди них значился и Григорий. В графе «За что арестован» отмечено: «Подъесаул, настроенный против. Опасный». Далее уточняется, что он будет арестован «с приездом».

Отдохнув полчаса, Григорий ускакал на коне к дальнему родственнику на хутор Рыбный. Петр же пообещал сказать, что брат уехал к тетке на Сингин. На другой день Штокман и Кошевой с четырьмя конными поехали туда за Григорием, обыскали дом, но его не нашли.

Двое суток Григорий прячется в сарае, укрывшись за кизяками и выползая из укрытия только по ночам. Из добровольного заточения его вызволяет известие о восстании казаков.

На улице Мелехова привлекла речь незнакомого старого казака, в которой, как ему показалось, он нашел для себя ответы на мучительные вопросы. «...Теперь казались ему его искания зряшными и пустыми. О чем было думать? Зачем металась душа, — как зафлаженный на облаве волк, — в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. Теперь ему уже казалось, что извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы согреться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда... Пути казачества скрестились с путями безземельной мужичьей Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними на смерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навязать ей постыдный мир! На узкой стежке не разойтись, — кто-нибудь кого-нибудь, а должен свалить. Проба сделана: пустили на войсковую землю красные полки, испробовали? А теперь — за шашку!» Правда, на миг в Григории ворохнулось противоречие: «Богатые с бедными, а не казаки с Русью... Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные...». Но он со злостью отмахивается от этих мыслей.

Григорий возвращается в Татарский, когда там уже сформированы конная и пешая сотня, которой командует Петр Мелехов. Григория ставят командиром полусотни (двух взводов); он все время впереди, в авангарде, в передовых заставах разведчиков. У повстанцев в обиходе сохраняется слово-обращение «товарищ». Лозунг, под которым они выступают, — «демагогического» толка: «За Советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей».

6 марта Петр был взят в плен красными и расстрелян Михаилом Кошевым. Уже на следующий день Григория назначают командиром Вешенского полка. Взятых в первом бою двадцать семь красноармейцев он приказывает порубить («Это им за Петра первый платеж»).

Вскоре по всему Верхнему Дону разворачиваются ожесточенные сражения. Вешенский полк преобразуется в 1-ю повстанческую дивизию (3,5 тысяч сабель), Григорий командует ею. Он не слишком считается с решениями и приказами повстанческого штаба, предпочитая руководствоваться собственными соображениями. Его положение комдива рождает в нем и «горделивую радость», и «тревогу», «терпкую горечь» — «ему ли, мало-

грамотному казаку, властвовать над тысячами жизней и нести за них крестную ответственность. «А главное — против кого иду? Против народа... Кто же прав?»

Григорий не умеет еще руководить со стороны. Он сам водит в бой вешенцев, затыкая ими самые опасные места, и бой вершится часто «без общего управления». Участок его дивизии самый опасный — «лобовой», но Григорий успевает не только отражать натиски противников по Чиру, где стоит его дивизия, но и помогать «менее устойчивой» 2-й дивизии.

18 марта Григорий прибывает в Вешенскую на совещание в штаб Повстанцев, где встречает белого офицера подполковника Георгидзе. Из разговора с начштабом Кудиновым Мелехов узнает о планируемом соединении восставших казаков с кадетами. «Нам, милоч, окромя кадетов деваться некуда, — говорит Кудинов Григорию. — ...Соединимся, с повинной головой придем к Краснову: «Не суди, мол, Петро Николаич, трошки заблудились мы, бросимши фронт...» И опять Григорий открыто высказывает свои сомнения: «А мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли...»

Рядовые казаки знают о настроениях Григория. Ермаков, один из командиров повстанцев, предлагает устроить в Вешках переворот: «Давай биться и с красными и с кадетами». «Мы хотим перетряхнуть власть, — обращается он к Григорию. — Всех сменим и посадим тебя. Я гутарил с казаками, они согласны». Но Григорий пресекает эти разговоры: «...ежели начнем браковать командование и устраивать всякие перевороты, — гибель нам. Надо либо к белым, либо к красным прислоняться. В середке нельзя — задают».

Самого же Григория гложет черная тоска, он начинает пить, пускается в загул. Его посещают мысли о смерти: «Что же новое покажет мне жизнь? Нету нового! Можно и помереть. Не страшно». И только с острой нежностью, вороша пережитое, вспоминает он Аксинью («Любушка! Незабудняя!»). Приступы жестокости у Григория сменяются острым раскаянием в содеянном (бой под Климовкой, когда Мелехов в горячке боя зарубил четырех матросов, а потом бился впервые в жизни в тягчайшем припадке на руках у казаков: «Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради Бога... в Бога мать... Смерти... предайте!..»).

Григорий пресекает расправы над пленными. Когда он узнает, что в Вешенской в тюрьму посадили женщин, стариков и детей, чьи родные ушли с красными, он самочинно открывает тюрьму, выпуская всех арестованных на волю.

В середине апреля Григорий приезжает в Татарский на пять дней помочь родным и теще на пахоте. Там он встречается с Аксиньей, и — неожиданно для обоих — опять между ними возобновляются отношения, прерванные пять с половиной лет назад.

По возвращении в дивизию, Григорий получает от Кудинова письмо, из которого узнает, что в плен к повстанцам попали Котля-ров и Кошевой (Кудинов ошибся, на самом деле Кошевой плена избежал). Григорий тут же оставляет дивизию на Рябчикова, а сам мчится в Усть-Хоперскую, где должны находиться пленные коммунисты. «Дознаться, кто Петра убил... — думает Григорий, — и выручить Ивана, Мишку от смерти! Выручить... Кровь легла промеж нас, но ить не чужие же мы?!»

Но Григорий опоздал. Пленных отправили в Татарский и там перебили. Котлярова застрелила вдова Петра — Дарья. Узнав об этом, Мелехов в приступе бешенства чуть не зарубил ее.

С середины мая 1919 года Красная Армия начала решительные действия против верхнедонских повстанцев. Хутор за хутором сдает красным дивизия Григория, отступая на север, к Дону. Воспользовавшись временной передышкой на фронте, Мелехов по просьбе Кудинова приезжает в Вешенскую на совещание. Его не волнует судьба восстания, Григорий понимает, что и с Советской властью повстанцам уже не помириться, и с кадетами мир у них только до поры до времени («Черт с ним! Как кончится, так и ладно будет!»).

Холодное, тупое равнодушие властно охватывает его. Единственное, что, ему кажется, осталось в жизни — «с новой и неумной силой вспыхнувшая страсть к Аксинье». Думая о скором отступлении, Григорий «без колебаний и долгих раздумий» решает Наталью с детьми и матерью оставить в Татарском, а Аксинью взять с собой («Дам ей коня, и пушай при моем штабе едет»).

За день на левую сторону Дона были переправлены все повстанческие части и беженцы. Последними переправляются конные сотни дивизии Мелехова, которые до вечера удерживали натиск 33-й Кубанской дивизии. Еще до начала общего отступления Григорий посылает в Татарский за Аксиньей своего ординарца Прохора Зыкова. Своим же родным он велит передать, чтобы те переправили на левый берег скотину и все что есть ценное.

Аксинья приезжает в Вешки. Григорий двое суток проводит с ней, бросив дивизию. На третьи сутки он решает проехать до Татарского — узнать, как держит оборону Татарская сотня и что с семьей. Из-за этого у него происходит размолвка с Аксиньей, которая не желает делить его с Натальей.

В Татарской сотне Григорий встречает отца. От него он узнает, что вся семья осталась в Татарском под красными — Наталья заболела тифом. Но красные их не обижают, хотя Кошевой и грозит повесить Григория на самом высоком дубу.

Не доехав до Татарского, Григорий через два дня возвращается в Вешки, проверив предварительно состояние своей дивизии по всем фронтам.

10 июля трехтысячная конная группа Донской армии под командованием генерала Секретева прорвала фронт и вышла к окруженным повстанцам. Отныне казаки-повстанцы в порядке военного приказа вливались в белогвардейскую Донскую армию генерала Сидорина.

Григорий как повстанческий командир приглашен на банкет, устроенный в честь Секретева в Вешенской. С «напряженным и злобным вниманием» Григорий слушает пьяную речь Секретева, полную «недвусмысленных упреков и угроз» по адресу верхнедонцев. Услышав, что повстанцам доверяют «постольку-поскольку», что их «предательство не скоро забудется», Мелехов с «холодным бешенством» говорит себе: «Ну и мы вам послушим постольку-поскольку».

В этот же вечер Григорий заходит к Аксиньиной тетке и застает там Степана. Поняв, что Аксинья вернулась к мужу, Г. вместо того, чтобы по приказу Секретева явиться в дом офицерского собрания, едет в Татарский проведать семью.

Дома все в сборе. Григорий испытывает огромную нежность к детям и к Наталье, только что оправившейся от тифа. «Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже детстве. А тут эти слезы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучный бьется колокольчик». Дуняшка замечает, как постарел брат, «серый какой-то стал, как бирюк».

Григорий помогает по хозяйству, советует отцу не держать ничего лишнего в закромах и на базу («По нынешним временам все это ни к чему»). Наталья достает спрятанные в сундуке офицерские погоны и, оглядев мужа, с простодушным восхищением говорит: «Тебе с ними лучше!», на что Григорий горько замечает: «Век бы их не видать».

Никогда еще Григорий не покидал родного хутора с таким тяжелым сердцем, как на этот раз. Исступленно шепчет молитвы мать, безутешно рыдает Полюшка, в черном траурном платке стоит Наталья. У самого Григория «градом покатились из глаз слезы». И вновь, томимый гнетущей тревогой и тоской, он едет назад в дивизию, думая о войне и о смерти: «В конце концов — не все ли равно, где кинет его на землю вражеская пуля?»

Григорий приезжает в Хованскую, где теперь находится штаб повстанцев. Отсюда с Копыловым, новым начальником штаба, он был приказом вызван к генералу Фицхеларову, командиру регулярной дивизии белой армии. Григорий недоволен, что казакам приказывают белые офицеры. На это Копылов ему примиряюще замечает: «Новое время

— новые песни. По старшинству мы обязаны подчиниться. Фицхелауров — генерал, не ему же к нам ехать». «К чему шли, к тому и пришли», — делает для себя вывод Григорий.

«...Господам генералам надо бы вот о чем подумать, — развивает Мелехов свою мысль перед Копыловым. — Народ другой стал с революции, как, скажи, заново народился! А они все старым аршином меряют. А аршин, того и гляди, сломается...» Простой казак, заслуживший свой офицерский чин на германской войне, Григорий чувствует себя в офицерском обществе белой вороной: «Я им чужой с головы до пяток... Они думают, что мы из другого теста сделанные, что неученый человек, какой из простых, вроде скотины. Они думают, что в военном деле я или такой, как я, меньше их понимаю».

Мелехова и других повстанческих командиров у Фицхелаурова ждет разнос, и хотя многое, что высказывает генерал, справедливо (отсутствие дисциплины у повстанцев, нежелание подчиняться приказам), грубая форма, в которую облакает генерал свои претензии, вызывает у Григория глухую ярость. Мелехов отказывается подчиняться генералу, позволяет оспаривать его приказы, подчеркивая свое равное с ним положение («Пока мы с вами на равных правах. Вы командуете дивизией, и я тоже»). В приступе ярости он даже грозит генералу шашкой. «Прошу на меня не орать!.. Вы вызвали нас для того, чтобы решать... — На секунду смолк, опустил глаза и, не отрывая взгляда от рук Фицхелаурова, сбавил голос почти до шепота: — Ежли вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хоть пальцем, — зарублю на месте!»

В бою за Усть-Медведицкую Григорий чувствует, что «странное равнодушие овладело им». Он решает не вести своих казаков под пулеметный огонь, предпочтя, чтобы в атаку пошли штурмовые офицерские роты. Вновь со всей безнадежностью перед ним встают прежние противоречия: «Нехай воюют. Погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию — буду проситься из строя в тыл. С меня хватит!».

Вскоре расформируют повстанческую армию, в том числе и дивизию Григория. Он спокойно воспринимает это событие и просит перевода в хозяйственную часть, мотивируя тем, что за две войны был четырнадцать раз ранен и контужен. Но Мелехова оставляют в действующей армии, назначая его командиром сотни и повышая в чине (теперь он сотник). Объявив казакам о расформировании дивизии, Григорий, не скрывая своего настроения, открыто говорит им: «Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину врозь. Самое главное — головы берегите, чтобы красные вам их не продырявили. У нас они, головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пули не надо. Ими ишо придется думать, крепко думать, как дальше быть...»

Не успел Мелехов принять сотню и как следует ознакомиться с ней, как получил из дому телеграмму о смерти жены. Его в тот же день отпускают домой. Он так торопится, что чуть не загоняет коня, но домой успевает только на третий день после похорон Натальи. Смерть жены потрясла Григория, он даже не нашел в себе сил сходить к ней на могилу.

Воспоминания Григория о Наталье «неистребимы и мучительны», каждая мелочь в доме напоминает о ней. Нравственные страдания усугубляются физическими — сильные боли в сердце, которые уже не в первый раз чувствует Мелехов, рождают в нем мысль: «Видно укатали сивку крутые горки...»

Григорий страдает не только потому, что по-своему любил Наталью, свыкся с ней за шесть лет, но и потому, что чувствует себя виноватым в ее смерти. Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу — забрав детей, ушла жить к своей матери; если бы там умерла, ожесточенная в ненависти к своему неверному мужу, то Григорий не с такой бы силой испытывал тяжесть утраты, раскаяние не так бы яростно его терзало. Но со слов матери своей он узнал, что Наталья простила ему все, что любила она его и вспоминала

до самой смерти. Это увеличивает страдания Григория, отягощает совесть несмолкающим укором, заставляет по-новому осмысливать прошлое и свое поведение в нем.

Если раньше Наталья была безразлична Григорию, он даже испытывал к ней неприязнь, то в последние годы он стал по-иному относиться к жене, и основной причиной этой перемены стали дети. Вначале к детям Григорий не испытывал глубокого отцовского чувства, которое в нем возникло в последнее время. На короткий срок, приезжая с фронта, Григорий пестовал и ласкал детей по обязанности и чтобы сделать приятное их матери. И дети относились к нему с не меньшим равнодушием, но по мере того как росли — росла и их любовь к отцу. «Детская любовь возбудила и у Григория ответное чувство, и это чувство, как огонек, перебросилось на Наталью». Привязался Григорий к сыну Мишатке. Мальчик оказался чисто «мелеховской породы» — и внешне и нравом похожий на отца и деда.

После разрыва с Аксиньей Григорий ни минуты не думал всерьез о том, чтобы оставить жену. И даже вновь сойдясь с Аксиньей, он не думал, что она когда-нибудь могла бы заменить мать его детям. Он был не прочь жить с ними обеими, «любя каждую из них по-разному», но, потеряв жену, Григорий «вдруг почувствовал и к Аксинье какую-то отчужденность, потом глухую злобу на то, что она выдала их отношения и — тем самым — толкнула Наталью на смерть».

Ввиду кончины жены Мелехов получил отпуск на месяц. Пантелей Прокофьевич, видя страдания сына, советует ему: «Пойдем-ка на поля. В работе оно легче будет». Григорий охотно соглашается. Он убирает уже созревший хлеб, трудится по хозяйству. Много времени уделяет он и детям: мастерит им игрушки, берет Мишатку с собой в поле на работу.

Но даже любовь к детям не может унять тяжелую тоску Григория, и он решает уехать в полк раньше времени: «Поживу с неделю и уеду на фронт. Тут с тоски пропадешь». За день до отъезда он встречает Аксинью, но важного разговора, которого так ждет Аксинья, между ними не происходит — Григорий предпочитает ограничиться несколькими ничего не значащими фразами.

Чем ближе подъезжает Мелехов к фронту, тем шире открывается перед его глазами «отвратительная картина разложения Донской армии, — разложения, начавшегося в тот момент, когда, пополненная повстанцами, армия достигла на Северном фронте наибольших успехов. Части ее уже в это время были не только не способны перейти в решительное наступление и сломить сопротивление противника, но и сами не смогли бы выдержать серьезного натиска». В станицах, где располагаются резервные войска, офицеры пьянствуют; обозы всех разрядов ломаются от награбленного добра; среди казаков наблюдается массовое дезертирство, прямое неповиновение офицерам; в маршевых сотнях откровенно говорят о своем нежелании воевать.

Григорий не может сдержать негодования и, увидев у знакомого подхорунжего переметные сумки, раздутые от награбленного добра, с возмущением говорит ему: «Хороши вояки!.. С такими подобными, как ты, на большой дороге, под мостами сидеть, а не воевать! Грабиловку из войны учинили! Эх вы, сволочи! Новое рукоделие приобрели!» На что подхорунжий спокойно ему возражает, что такие как он «хучь в сумах» везут «да в повозках», а офицеры «цельными возами отправляют».

По дороге на фронт Мелехову выпадает еще одна встреча. В прифронтовой станице он случайно оказывается вместе с лейтенантом английской армии Кэмбеллом, который служит у белогвардейцев инструктором по танкам. Его сопровождает офицер-переводчик. Втроем они пьют всю ночь, и Кэмбелл говорит о том, что не верит в победу белых. Англичанин восторгается красными, увидев, как они «в пешем строю, обутые в лапти, шли в атаку на танки». По его мнению, «народ нельзя победить». Григорий не возражает Кэмбеллу, единственно, что он ему советует «от чистого сердца» — поскорее уезжать домой, «пока тебе тут голову не свернули».

О том, как и где воюет Григорий во второй половине 1919 года, что с ним происходит, в романе ничего не говорится. Домой он не пишет, и только «в конце октября Пантелей Прокофьевич узнал, что Григорий пребывает в полном здравии и вместе со своим полком находится где-то в Воронежской губернии». А вскоре Прохор Зыков привозит своего командира на подводе «в тифу» в отцовский дом.

От тифа Григорий оправился только через месяц. После болезни в его характере неожиданно «проявились ранее несвойственные ему любопытство и интерес ко всему происходившему в хуторе и в хозяйстве. Все в жизни обретало для него какой-то новый, сокровенный смысл, все привлекало внимание. На вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глазами, и с губ его подолгу не сходила простодушная, детская улыбка, странно изменявшая суровый облик лица, выражение звероватых глаз, смягчавшая жесткие складки в углах рта. Иногда он рассматривал какой-нибудь с детства известный ему предмет хозяйственного обихода, напряженно шевеля бровями и с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой, далекой страны, видевшим все это впервые».

Но война напоминает о себе ежедневно. Казаки, вернувшиеся с фронта, сообщают о неудачных боях под Орлом, об отступлении, начавшемся по всему фронту. Григорий еще не выходит из дома, а хуторской атаман уже присылает ему распоряжение станичного атамана о незамедлительной явке на врачебную комиссию для переосвидетельствования. Фронт все ближе и ближе придвигается к Дону. Вскоре на майдане оглашается приказ окружного атамана, обязывающий всех взрослых казаков ехать в отступление.

12 декабря отправляется «в отступ» с хуторскими казаками Пантелей Прокофьевич, договариваясь с сыном, что позже тот его найдет. Григорий уезжает в Вешенскую, чтобы узнать, где находится его отступающая часть. В Вешках ему посоветовали ехать в Миллерово — там он скорей может узнать о местопребывании своей части. Ему советуют торопиться: красные уже близко.

Еще перед отъездом в Вешенскую, Григорий заходит к Аксинье и предлагает ей, бросив хозяйство, ехать с ним «в отступ». Аксинья готова ехать с ним хоть на край света. И на другой же день по возвращении из Вешенской Григорий с Аксиньей и Прохором Зыковым по санной дороге выезжают из Татарского на юг, держа путь на Миллерово.

Едут они медленно, по забитой беженцами и в беспорядке отступающими казаками дороге. На третий день пути Аксинья заболела тифом и потеряла сознание. С трудом удалось Мелехову устроить больную женщину у случайного человека в поселке Ново-Михайловском. Спасая любимую, он отдает скупому хозяину все свои деньги, винтовку с патронами и готов отдать даже своего коня. В голосе Григория звучит «несвойственная ему просительность, почти мольба», когда он уговаривает хозяина дома оставить у себя Аксинью.

Оставив Аксинью в поселке, Григорий сразу утратил интерес к окружающему. Дни для него потянулись серой и безрадостной чередой. Он «с утра садился в сани, ехал по раскинувшейся бескрайней, заснеженной степи, к вечеру, приислав где-нибудь пристанище для ночлега, ложился спать. То, что происходило на отодвигавшемся к югу фронте, его не интересовало. Он понимал, что настоящее, серьезное сопротивление кончилось, что у большинства казаков иссякло стремление защищать родные станицы, что белые армии, судя по всему, заканчивают свой последний поход...»

Война подходит к концу. Кубанцы тысячами бросают фронт, разъезжаясь по домам. Донские казаки сломлены. Добровольческая армия, обескровленная боями и тифом, потерявшая три четверти состава, не в силах противостоять успешному напору Красной Армии. Мелехов на остановках внимательно прислушивается к разговорам, с каждым днем все больше и больше убеждаясь в неизбежном поражении белых.

Угнетаемый бездельем, он даже хочет примкнуть к какой-нибудь военной части, но Прохор этому решительно воспротивился, предлагая своему командиру «мирно, по-

стариковски отступать», в противном случае угрожая оставить его одного. После долгого раздумья Григорий согласился: «Будь по-твоему. Поедем на Кубань, а там видно будет».

У Мелехова в избытке времени, чтобы «обдумать настоящее и вспомнить прошедшее». Он подолгу перебирает в памяти «пролетевшие годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни». Вспоминает он Аксинью, больную, без памяти брошенную в безвестном поселке, с «тоскливой тревогой» думает о своих близких, оставленных в Татарском, переживая, что красноармейцы могут отомстить матери или сестре за него. Грустно сжимается сердце Григория при воспоминании о детях: он боится, что не уберегут их от тифа, и в то же время чувствует, что «при всей его любви к детям, после смерти Натальи уже никакое горе не сможет потрясти его с такой силой...».

На одной из остановок Прохор, обеспокоенный тем, что так в конце концов их «загонят в бусурманские земли, куда-нибудь под турка», неуверенно предлагает Мелехову примкнуть к «зеленым», но тот отказывается («что-то охоты нету»).

В конце января Мелехов и Прохор приезжают в слободу Белая Глина. Здесь, у знакомого хуторянина, Григорий случайно узнает о смерти Пантелея Прокофьевича, который накануне вечером скончался от тифа. Его труп, весь покрытый вшами, Григорий находит в соседней хате.

На следующий день после похорон отца Григорий выезжает в Новопокровскую, которая расположена по дороге в Екатеринодар. В станице Кореновской ему стало плохо. С трудом найденный Прохором полупьяный врач ставит диагноз: возвратный тиф, дальше ехать нельзя — смерть. Тем не менее, Григорий и Прохор выезжают. Медленно тянется на юг пароконная повозка, на которой лежит, временами теряя сознание, Мелехов.

В один из дней бесконечного пути Прохор предлагает больному Григорию остаться в станице, через которую они проезжают, но слышит в ответ тихое: «Вези... пока не помру...». Прохор кормит Мелехова «с рук», вливает в рот молоко, разжимая ему клинком зубы. В Екатеринодаре, куда Прохор привозит Григория, его случайно отыскали казаки-однополчане, помогли, поселили у знакомого врача. За неделю Григорий поправился и вскоре, в станице Абинской, смог уже сесть на коня.

25 марта Мелехов с товарищами в Новороссийске, где идет эвакуация, пытаются сесть на пароход, но тщетно — мест нет. В ярости Григорий бросает полковнику, руководившему погрузкой: «Теперь мы вам не нужны стали? А раньше были нужны?». Впрочем, Григорий не очень настойчив, а когда подворачивается возможность попасть на другой пароход, он воспринимает эту новость равнодушно, решая остаться.

Утром, после «невеселой гулянки», которая продолжалась всю ночь, один из казаков — товарищей Григория — предлагает с казачьей полусотней ехать в Тифлис, но Мелехов отказывается. Да уже и поздно — в Новороссийск входят части Красной Армии.

Позже из рассказа Прохора Зыкова, возвратившегося в Татарский без руки, становится известно, что там же, в Новороссийске, он и Григорий поступили в Первую Конную армию Буденного, где Мелехов сразу получил назначение командира эскадрона в 14-й кавалерийской дивизии.

Прохор, рассказывая Аксинье о Григории, отмечает разительные перемены, происшедшие с его командиром: «Переменился он, как в Красную Армию поступил, веселый стал из себя, гладкий, как мерин». И еще: «Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи не замолю».

Служба у Мелехова, по словам того же Прохора, началась хорошо. За отвагу в бою его благодарит сам командарм Буденный. Позже, по возвращении в Татарский, Григорий расскажет Прохору, что он стал помощником комполка и провел в действующей армии всю военную кампанию против белополяков.

Сама служба Григория в Красной Армии не показана в романе, хотя она продолжалась довольно долго — с апреля по октябрь 1920 года. Сведений об этой службе немного, и они носят косвенный характер. Осенью Дуняшка получила от брата письмо, где гово-

рилось, что он «был ранен на врангелевском фронте и что после выздоровления будет, по всей вероятности, демобилизован». Позднее он расскажет, как ему приходилось участвовать в боях, «когда подступили к Крыму».

Как и предполагал Григорий, его демобилизуют. В Миллерово он приезжает поздней осенью, где ему, как демобилизованному красному офицеру, дают обывательскую подводку, на которой он добирается до дому. Одна лишь мысль владеет Мелеховым безраздельно: он мечтает о том, «как снимет дома шинель и сапоги, обуется в просторные чирики... и, накинув на теплую куртку домотканый зипун, поедет в поле».

Еще на фронте он решил взять в дом Аксиныю и вместе с ней воспитывать детей. Война осточертела Григорию до предела, и «при одном воспоминании о ней, о каком-либо эпизоде, связанном со службой, он испытывал внутреннюю тошноту и глухое раздражение».

Дома Григорий узнает о смерти матери — не дождавшись сына, Василиса Ильинична скончалась в августе. Незадолго до этого Дуняшка вышла замуж за Михаила Кошевого.

В первый же день по возвращении Григория ждет тяжелый разговор с Кошевым, ставшим председателем хуторского ревкома. Михаил не верит Мелехову: «Как волка ни корми, он в лес глядит... случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнешься на другую сторону».

Григорий устало пытается убедить Кошевого, что никому больше не хочет служить. «Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция и контрреволюция. Нехай бы вся эта... нехай оно все идет пропадом! Хочу пожить возле своих ребятишек, заняться хозяйством, вот и все». Он согласен отсидеть за восстание, но пусть зачтут и службу в Красной Армии, ранения, которые он там получил. «Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет — буду обороняться!». Разговор кончается резко — Михаил приказывает Мелехову с утра идти в Вешенскую зарегистрироваться как бывшему офицеру.

Мирная жизнь оказывается далеко не такой простой, как казалось Григорию недавно. «В глупой, ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет как по-писаному: никто ему слова не скажет, никто не упрекнет, все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином».

Утром, перед тем как идти в Вешки, Мелехов заходит к Зыкову — только с ним он может поделиться «своими самыми сокровенными думами». Он сообщает Прохору о своем разговоре с Кошевым и вспоминает одного хохла, который просил у комполка Григория оружия для обороны села от бандитов: «Командир полка — при мне разговор был — и говорит: “Вам дай оружие, а вы сами в банду уйдете”. А хохол смеется и говорит: “Вы, товарищ, только вооружите нас, а тогда мы не только бандитов, но и вас не пустим в село”. Вот и я зараз вроде этого хохла думаю: кабы можно было в Татарский ни белых, ни красных не пустить — лучше было бы. По мне они одной цены — что, скажем, свояк мой Митька Коршунов, что Михаил Кошевой».

Григорий мрачнеет, узнав от Прохора, что в соседней Воронежской губернии поднялось «огромное» восстание — теперь ему, как бывшему офицеру и повстанцу «тигулевки не миновать». Привыкший рисковать жизнью в открытом бою, он отчаянно страшится неволи: «Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти». На сожалеющие слова Прохора — «зря ты домой шел... Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха, а тогда и шел бы», — Григорий отвечает: «Это не по мне! Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы?».

Мелехов признается Прохору, что всегда завидовал Листницкому и Кошевому, которым с самого начала было все ясно: «У них, у обоих, свои, прямые дороги, свои концы, а я с семнадцатого года хожу по вилюжкам, как пьяный качаюсь... От белых отбилсь,

к красным не пристал, так и плаваю, как навоз в проруби...». И у белых всегда Григорий был чужой, «на подозрении», и у красных так же вышло.

Он рассказывает Прохору, что, став командиром эскадрона у Буденного, не раз ловил на себе подозрительные взгляды комиссара и коммунистов. «Приметил я это дело, и сразу у меня сердце заохлодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше... И лучше, что меня демобилизовали. Все к концу ближе».

В комиссариате Вешенской, куда Мелехов отправился на следующий день, его направляют на регистрацию в политбюро Дончека как бывшего офицера. Понимая, что его посадят, содрогаясь «от испуга и отвращения», Григорий решает вернуться на хутор и прожить этот день с детьми и Аксиньей, а утром вернуться в Вешенскую («Завтра будь что будет, а сегодня нет!»). Его мучительные раздумья прерывает Фомин, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии, ныне красный командир караульного эскадрона Вешенской станицы. Фомин советует Григорию скрыться — идут повальные аресты не только бывших офицеров, но и простых казаков, причастных к восстанию. Но совет Фомина толкает Мелехова на совершенно противоположный поступок — он идет в Дончека, решив для себя: «Кончать — так скорее, нечего тянуть! Умел, Григорий, шкодить — умей и ответ держать!»

В Дончека Григория расспрашивали о восстании, дали заполнить анкету, а потом отпустили, велев через неделю прийти отметить. Вечером, рассказывая Аксинье об этом визите, Григорий презрительно сказал о себе: «Жидковат оказался на расплату... Сробел».

Григорий переселяется к Аксинье, забрав с собой детей. На вопрос сестры, собирается ли он жениться на Аксинье, Григорий отвечает неопределенно: «С этим успеется». На душе у него тяжело, ничего планировать на будущее он не может и не хочет.

«Несколько дней он провел в угнетающем безделье. Попробовал было кое-что смастерить в Аксиньином хозяйстве и тотчас почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа». Григория мучит тягостная неопределенность, ни на минуту не покидает мысль об аресте и тюрьме. И он принимает решение: в тот день, когда надо будет отправляться в Вешенскую, он уйдет из хутора и скроется, если понадобится — надолго.

В эти дни Мелехов стремится не навлекать на себя подозрение, избегает общения с хуторянами, недовольными продрозверсткой, пресекает разговоры о политике. Но обстоятельства заставляют Григория покинуть хутор раньше, чем он предполагал. В четверг ночью в дом Аксиньи прибежала бледная Дуняшка и сообщила, что Михаил и четверо конных из станицы собираются арестовать Григория. Он собрался мгновенно, действуя «как в бою, — поспешно, но уверенно», поцеловал сестру, спящих детей, плачущую Аксинью и шагнул за порог в холодную темноту ночи.

Три недели Григорий прячется у знакомого однополчанина в хуторе, а потом уходит в другое место, где у дальнего родственника Аксиньи живет «месяц с лишком». Никаких планов на будущее у него нет. Целыми днями он лежит в горнице, изнывая от тоски и безделья. Его неудержимо тянет домой — к детям, к Аксинье. «Часто во время бессонных ночей он надевал шинель, с твердым решением идти в Татарский — и всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом». Наконец хозяин прямо говорит Мелехову, что держать его долее у себя не может, и советует ему идти в хутор Ягодный, чтобы спрятаться у его свата.

Поздней ночью Григорий выходит из хутора и тут же натывается на конный патруль, который его арестовывает. Вскоре выясняется, что Мелехов попал в банду своего знакомого Фомина, недавно подбившего вешенских казаков на мятеж против Советской власти.

Так Григорий оказывается у Фомина. Им движет лишь элементарное чувство самосохранения. «Надо было выбирать: или дальше скитаться по хуторам, вести голодную, бездомную жизнь и гибнуть от глухой тоски, пока хозяин не выдаст властям, или самому

явиться с повинной в политбюро, или идти с Фоминым». О своем положении он грустно шутит: «У меня выбор, как в сказке про богатырей: налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — убитым быть... И так — три дороги, и ни одной нету путевой...».

Мелехов говорит Фомину о своем согласии вступить в его «банду». Тот явно обрадован решением Григория и одновременно обижен на определение его мятежного эскадрона как банды («Такое прозвище нам коммунисты дали, а тебе так говорить негоже. Просто восставшие люди»).

Фомин вместе со своим начштаба Капариним, бывшим штабс-капитаном царской армии, пытаются «расшевелить» казаков, увлечь их идеей восстания, но не встречают у них поддержки. И Мелехов скоро приходит к мысли, что казаков поднять не удастся и что «вся фоминская затея обречена на провал».

Тем временем наступает «рабочая пора» — пора пахать и сеять. После каждой ночевки в банде наутро недосчитываются одного-двух человек. В конце концов, остается только «слихой народ», кому нельзя возвращаться.

Мелехов тоже остается в банде. «У него не хватило мужества явиться домой», хотя он твердо убежден, что при первом же серьезном столкновении с регулярной частью Красной Армии банда будет разгромлена на голову. Григорий надеется дотянуть до лета, а там, захватив пару лучших лошадей, махнуть в Татарский и оттуда вместе с Аксиньей — на юг, на Кубань, в предгорья, где вдалеке от родных мест и переждать смутное время.

Фомин, занимая хутора, уже перестал заниматься агитацией среди хуторских казаков, убедившись в ее бесплодности. В самой банде резко упала дисциплина — «шли мрачные попойки», «участились случаи грабежей». Однажды Григорий не выдержал и пригрозил Фомину, что если тот не наведет порядок, не прекратит грабежи и пьянство, то он, Мелехов, уйдет и уведет с собой половину народа. Угроза возымела действие — «порядок был как будто восстановлен».

Наконец случилось то, чего опасался Григорий, — 18 апреля у хутора Ожогина фоминцы были наголову разбиты красноармейским отрядом, который уже не один день преследовал банду. Спаслись только пять человек — Мелехов, Фомин, Капарин, Чумаков и Стерлядников.

Они укрылись на острове, отгороженном широким весенним разливом Дона. Жили кое-как, затаясь, не разжигая костер. Тяготы жизни — ранения, невзгоды войны, тиф — сделали свое дело: у Григория опять начались сильные боли в сердце.

Здесь, на острове, происходит примечательный разговор между Мелеховым и офицером из интеллигентов Капариним. В прошлом эсер, офицер царской, а потом Красной Армии, Капарин в итоге стал мистиком и монархистом. В Григории он пытается найти союзника («Вы — интеллигентный человек», «вы же офицер»), на что тот с усмешкой отвечает, что он само слово «интеллигент» с трудом выговаривает, а офицером стал «по нечаянности». Относительно же монархизма и «божьего перста», на которые уповаet Капарин, в душевном трепете предлагая прочесть наоборот «молот, серп» («Только престолом окончится революция и власть большевиков! Знаете ли, меня охватил мистический ужас, когда я узнал об этом! Я трепетал, потому что это, если хотите, — Божий перст, указывающий конец нашим метаниям...»); Григорий также высказывается определено: «Какой там может быть перст, когда и Бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С пятнадцатого года как нагледелся на войну, так и надумал, что Бога нету. Никакого! Ежели бы был — не имел бы права допускать до такого беспорядка... И перста никакого нету, и монархии быть не может, народ ее кончил раз и навсегда».

Все эти «перевертывания букв» для Григория — «детская забава»; он понимает, что Капарин подводит его к какому-то серьезному разговору, о чем тому напрямую и говорит: «Я трошки не пойму — к чему вы все это подводите? Вы мне говорите попроче и покороче».

Григорий оказался прав. Для Капарина, как он признается, не важно — верит Мелехов или нет, не имеют для него значения и идейные убеждения Григория. Капарину нужен союзник против Фомина: «Мы с вами убиваем эту троицу и идем в Вешенскую... Это нас спасет. Это заслуга перед Советской властью избавляет нас от наказания. Мы живем! Вы понимаете, живем!.. Спасаем себе жизнь!». Под давлением Григория Капарин также признается, что он еще утром собирался в Вешки, чтобы выдать всех, но Фомин разгадал его замысел и не пустил. «Знаете ли, когда стоит вопрос о собственной шкуре — в выборе средств не особенно стесняешься».

Григорий разоружает Капарина. Вид плачущего, молящего о пощаде Капарина вызывает у него чувство омерзения и жалости, и Мелехов объясняет, что не собирается выдавать его: «Как только переедем с острова — копни на все четыре стороны. Такой ты никому не нужен. Ищи сам себе укрытия». На вопрос Капарина — «зачем вы меня обезоружили?» — Григорий отвечает: «А это — чтобы ты мне в спину не выстрелил. От вас, от ученых людей, всего можно ждать... А все про какой-то перст толковал, про царя, про Бога... До чего же ты склизкий человек...»

Наутро Григорий узнал, что Капарина ночью по приказу Фомина убил Чумаков. Он собирался убить и Мелехова, так как подозревал его в сговоре с Капариним, но Фомин не разрешил. «Фомин опять мне все дело перебил. Подошел и шепчет: “Не трогай, он наш человек, ему можно верить”».

Григорий рассказывает о вчерашнем разговоре с Капариним и откровенно признается: «Пожалел его, черта слюнявого». Искренне удивленный Чумаков восклицает: «А вот ежели бы ночью, через эту твою жалость, ни за что ни про что на тот свет тебя отправил бы — тогда как?». «Туда и дорога была бы», — подумав, тихо ответил Григорий. И больше для себя, чем для остальных, добавил: «Это в яви смерть животу принимать страшно, а во время сна она, должно быть, легкая...».

В конце апреля Мелехов, Фомин и другие переправились через Дон. Трое суток они колесят по степным дорогам правобережья в поисках банды Маслака, к которой Фомин собирается примкнуть. Один раз нарвались на конный разъезд красных, были обстреляны, сумели оторваться.

Вопреки ожиданиям Григория, за полторы недели к ним присоединилось сорок казаков. Это были остатки разбитых в боях мелких банд. Лишившись своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им было решительно все равно, кому служить и кого убивать, «лишь бы была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто попадался под руку. Это был отпетый народ». Фомин, в глубине души все еще считавший себя «освободителем казачества», «борцом за трудовой народ», в разговоре с Мелеховым назвал этих людей «висельниками», а Чумаков — «разбойничками».

Проходит еще две недели. В банде уже около ста тридцати сабель. К ней примыкают уже не только местные казаки, но и несколько кубанских и терских, двое калмыков, латыш, пять матросов-анархистов, попавших на Дон разными путями. Фомин, движимый желанием собрать вокруг себя как можно больше людей, готов взять даже еврея, бежавшего из ростовской тюрьмы, где тот отсиживал срок за вооруженное ограбление. И хотя сами фоминцы «жида» не приняли, на следующий день они со смехом и шутками зачислили во 2-й взвод известного на всю Вешенскую станицу дурачка Пашу.

Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Григория («И вот с такими людьми связал я свою судьбу»). Он решает уйти из банды: «Завтра же уеду. Пора!» К уходу он готовится тщательно: у зарубленного милиционера взял документы на имя Ушакова, за две недели приготовил лошадей «к короткому, но стремительному пробегу».

В ту же ночь Мелехов уже в родном хуторе, в доме Аксины. Он предлагает Аксинье ехать с ним на юг, на Кубань. «Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работой

не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Вся душа у меня изболелась за эти месяцы». Акси́нья быстро собралась в дорогу, сбегала за Дуняшкой. Оставшись один, Мелехов «поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспомнил Наталью и еще многое вспомнил из своей нелегкой жизни и заплакал».

Оставив детей на Дуняшу («Устроюсь на работу, тогда заберу их»), Григорий и Акси́нья в предрассветных сумерках уходят. К утру они были в восьми верстах от хутора и затаились в лесу.

Григорий, измученный бесконечными переходами, засыпает, а Акси́нья, всматриваясь в лицо любимого человека, «заметила, как изменился он за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах... И она впервые подумала, как, должно быть, страшен он бывает в бою, на лошади, с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула».

Григорий решает двинуться к Морозовской. Ночью выехали и сразу же наткнулись на патруль. От погони удалось скрыться, но одна пуля смертельно ранила Акси́нью. Не приходя в сознание, она умирает на руках у Григория. «И Григорий, мертвец от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, — уже случилось».

Григорий похоронил Акси́нью здесь же, в овраге, вырыв могилу шашкой и выгребая землю руками и шапкой. Он простился с Акси́ней, «твердо веря в то, что расстанутся они ненадолго... Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь. Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено. В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца».

Похоронив Акси́нью, Мелехов три дня бесцельно скитается по степи, а потом, бросив коней, уходит в Слащевскую дубраву, где, как он слышал, оседло живут дезертиры, спасающиеся от мобилизации с осени 1920 года.

Несколько дней он бродит по огромному лесу. «Его мучил голод, но пойти куда-то к жилью он не решался. Он утратил со смертью Акси́нии и разум и былую смелость. Треск поломанной ветки, шорох в густом лесу, крик ночной птицы — все повергало его в страх и смятение». На исходе пятого дня его встретили дезертиры и привели к себе в землянку.

В лесу дни для Григория тянутся томительно и бесконечно. Чтобы как-то убить время, отвлечься от ядовитой тоски, он целыми днями вырезает из дерева ложки, миски, игрушки, но ночью воспоминания одолевают его, «по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу — щеки его и отросшая за полгода густая борода были мокры от слез». Вся жизнь для Григория — в прошлом, ему часто снятся дети, Акси́нья, мать, и все остальные близкие, кого уже не было в живых.

Теперь его томит одно желание: «Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно и помирать».

Всю вторую половину года и начало следующего Мелехов прожил в лесу. «На провесне» в лесу появился Чумаков, сообщивший, что банда разгромлена, а Фомин убит. Чумаков предлагает Григорию идти вместе с ним «легкую жизнь шукать», но тот отказывается. После ухода Чумакова, Мелехов живет в лесу еще неделю, после чего собирается в дорогу домой. Ему советуют подождать до 1 мая, до обещанной властями амнистии. Но он не может больше ждать.

Утром следующего дня Григорий был уже в Татарском. У пристани он увидел Мишатку, который с испугом узнал в этом «бородатом и страшном на вид человеке отца».

Взяв сына на руки, жадно всматриваясь в его лицо «сухими, иступленно горящими глазами», Григорий спрашивает у него о Дуне и Полюшке и узнает, что «тетя Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью ... от глотошной».

«Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот собственного дома, держал на руках сына...

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».